

НИКОЛАЙ КРАСНОВ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ



ТОТЕНБУРГ

МОСКВА 2017

УДК 94 (47+57)
ББК 63.3(0)62
К78

*Все права на книгу находятся под охраной издателей.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена
каким-либо способом без согласования с издателями.*

Краснов Н.
К78 Незабываемое. — М.: Тотенбург, 2017. — 332 с.

ISBN 978-5-00071-841-4

Книга Николая Николаевича Красного (младшего) — уникальное свидетельство трагедии казачества. Начиная с предательской выдачи англичанами офицеров и командиров Казачьего Стана советским властям, этапу в СССР, и заканчивая описанием пребывания в ГУЛАГе. Автор, непосредственный участник тех событий, без предвзятого отношения рассказывает как это происходило, что этому предшествовало и чем закончилось.

УДК 94 (47+57)
ББК 63.3(0)62

ISBN 978-5-00071-841-4

© Издательство «Тотенбург», 2017

СОДЕРЖАНИЕ

БИОГРАФИЯ АВТОРА	4
ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ОТРЫВКИ ИЗ НИКОГДА НЕ НАПИСАННОГО ДНЕВНИКА	10
В ЛИЕНЦЕ	14
ЮДЕНБУРГ И ДАЛЬШЕ... ..	38
ЛЕФОРТОВО	86
БУТЫРКА	114
СОВЕТСКИЙ СУД И «КРАСНАЯ ПЛЕСЕНЬ»	129
ЭШЕЛОН «МОСКВА — МАРИЙНСК»	151
СИБЛАГ МВД	161
МГБ СПЕЦЛАГЕРЯ ДЛЯ ФАШИСТОВ	186
ВСТРЕЧИ... МЫСЛИ... РАЗГОВОРЫ	224
...С 1954 ГОДА	234
«ВОЛЯ»	253
В СТЕПЯХ СРЕДНЕЙ АЗИИ	271
ПУТЬ ОБРАТНО	301
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	325

БИОГРАФИЯ АВТОРА

Николай Николаевич Краснов (младший) родился 24 мая 1918 г. в Москве, где тогда проходил службу его отец полковник Генерального штаба русской армии Краснов Николай Николаевич (старший). В 1919 г. (по другим данным в 1918 г.) с матерью попал на юг России и затем был эвакуирован в Королевство сербов, хорватов и словенцев (СХС) (с января 1929 г. — Югославия), где провел детство и юность.

Отец служил сначала в Министерстве просвещения в Белграде, затем в Министерстве земледелия. Следил за новостями военного искусства, участвовал в активных антикоммунистических организациях, много читал и многое передал сыну. Николай по окончании среднего учебного заведения, поступил в югославское военное училище и окончил его как офицер инженерных войск Югославской королевской армии. Состоял членом югославской организации «Збор».

После нападения Германии на Югославию принимал участие в боях с немцами, попал в плен. По освобождении из плена поступил на службу в Вермахт и добился направления на Восточный фронт. Воевал в составе известного полка (с 1943 г. дивизии) особого назначения «Бранденбург». Затем перешел в Русский охранный корпус на Балканах (РОК), в котором с 25 октября 1941 г. служил его отец.

Принимая участия в боевых операциях РОК, был ранен, за отличия, проявленные при выполнении поставленных задач, неоднократно удостоивался наград. В 1944 г. Николай оканчивает офицерские курсы, организованные при Корпусе и получает звание лейтенанта. Позже вместе с отцом переведен в Казачий стан. Служил в штабе походного атамана Т. И. Доманова, был произведен в подьесаулы.

После окончания войны, в числе других офицеров Казачьего стана, выдан в СССР вместе с отцом и дядей генерал-майором С. Н. Красновым. 27 октября 1945 г. был при-

говорен Особым совещанием при НКВД к 10 годам исправительно-трудовых лагерей по 58-й «антисоветской» статье.

В августе 1955 г. был освобожден, как иностранный подданный. После освобождения выехал к своей кузине в Швецию, где написал воспоминания, впоследствии вошедшие в книгу «Незабываемое». Этот труд стал исполнением обещания, данного П. Н. Краснову, которому он приходился внучатым племянником, во время их последнего свидания в Лефортовской тюрьме осенью 1945 г.

Николай Николаевич предпринимал неоднократные попытки попасть в США для постоянного проживания, где находилась его мать. Однако все старания оказались безуспешными, и он вместе с женой, Лилией Федоровной (в девичестве Вербицкая), поселился в Аргентине, в Буэнос-Айресе. В декабре 1958 г. был избран атаманом местной казачьей станицы, носившей имя П. Н. Краснова. Был одним из организаторов русского театра и основателем Общества друзей русского театра, сам выступал на сцене как актер.

22 ноября 1959 г. скончался на театральной сцене во время спектакля по пьесе А. Н. Островского «На бойком месте». Похоронен на кладбище в Сан-Мартине.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов книга Николая Николаевича «Незабываемое» выдержала два издания в Сан-Франциско и Нью-Йорке, переведена на английский язык и выпущена под названием «Скрытая Россия». В этой работе он руководствовался наказом П. Н. Краснова: *«Не старайся никого удивить красивым слогом. Не воображай себя писателем. Если вернешься туда, ...напиши правду. Только правду. Правду о коммунизме. Правду о народе. Старайся все запомнить, заметить, запечатлеть и передай будущим поколениям чистую истину»*.

ПРЕДИСЛОВИЕ

К первому изданию

*Памяти моего деда,
генерала Петра Николаевича Краснова,
моего отца Николая Николаевича,
дяди Семена Николаевича и всех,
вместе с ними погибших
мученической смертью от руки
палачей нашей Родины и народа.*

Н. Краснов

От моих воспоминаний нельзя ожидать яркости обликов, четкости фразы только потому, что я ношу фамилию Краснов и прихожусь внучатым племянником талантливого писателя, барда России и казачества, Петра Николаевича Краснова. Я постарался вложить в них искренность и правдивость и быть маленьким летописцем событий, очевидцем которых я был, начавшихся в Лиенце и для меня закончившихся моим чудесным возвращением на свободу.

Десять с лишком лет, проведенных за железным занавесом, оставили неизгладимое, незабываемое впечатление. Поэтому я и назвал свою книгу «Незабываемое».

Забыть все пройденное нельзя. Грешно. Нужно помнить и нужно своим человеческим, одиночным опытом поделиться со всеми, кто хочет знать правду.

Не один я, тысячи людей прошли этапы Лиенц — Юденбург — Москва — Заполярье, но очень немногие вернулись к жизни в свободный мир. Тот, кто вернулся — не смеет молчать, потому что его молчание будет являться как бы соучастием в бесчисленных преступлениях, совершенных властью имущими, недругами нашей Родины,

России, внешними и внутренними. Он должен говорить от имени всех навеки умолкнувших.

Я навсегда запомнил завет, сказанный покойным Петром Николаевичем, в момент нашего прощания: «Не старайся никого удивить красивым слогом. Не воображай себя писателем. Если вернешься туда, на свободу, говори, напиши правду. Только правду. Правду о коммунизме. Правду о народе. Старайся все запомнить, заметить, запечатлеть и передай будущим поколениям чистую истину о содеянном предательстве, об измене слову, о страданиях, через которые идет Россия».

Я прошу читателей принять мою книгу только как воспоминания простого человека, не ища в ней сенсаций, интригующих завязок, особо выдающихся героев. Она — отражение в капле слезы всего неизмеримого мучения, через которое проходит наш народ, а не моих личных переживаний и умствований. Единственным ее достоинством является искренность, которой я не пожертвовал в интересах каких-либо эффектов.

«Незабываемое» не должно послужить платформой для разжигания ненависти и жажды отмщения, но предупреждением всех о тех тяжелых и непоправимых последствиях, которыми чреваты договоры, подобные Ялтинскому, Тегеранскому и Потсдамскому.

Россия существует. Жив ее народ. Жив его дух. И когда она воспрянет — она примет в свои объятия всех тех своих детей, которые жаждали ее воскресения не для себя, а для нее и грядущих поколений.

*Николай Краснов,
Аргентина, 31 декабря 1956 года*

Ко второму изданию

Первое издание «Незабываемого» вышло летом 1957 года. Писал я свои воспоминания, так сказать, «по свежим следам», начиная с выдачи казаков английским командованием, как «военных преступников и изменников Родины», в руки контрразведки советской армии, и продолжая описанием жизни политических заключенных и лагерях СССР.

Будучи в 1955 г. последние месяцы перед освобождением бесконвойным, я в своих наблюдениях немного захватил и «воли» в СССР. Из личного опыта и разговоров со своими товарищами, с охранниками, с вольными людьми я попытался дать более или менее правдивую картину жизни в СССР. Думаю, что это мне удалось, ибо прошло уже больше двух лет с момента появления в печати «Незабываемого», а я все еще получаю многочисленные письма со всех концов нашей планеты.

Читатели, как и рецензенты в газетах и журналах, разошлись в своем мнении: одни за «Незабываемое», другие против. Одни видят в нем правду об СССР, другие антизападную пропаганду. Одни считают мои суждения об эмиграции ошибочными, и даже для нее оскорбительными, а другие стараются доказать, что русский народ сам выбрал себе коммунистический режим и мои высказывания об интернациональном характере коммунизма, об ошибках западной политики являются копией самой настоящей коммунистической пропаганды.

Правда часто бывает горькой — с этим я согласен, но на правду каждый человек смотрит со своей колокольни. Трудно, очень трудно признать свои ошибки, еще труднее спокойно и логично писать о них. Трудно писать о тех людях, которые нанесли тебе не только физическую, но и душевную боль, и оставаться в границах правды, не «перешибая» в любую сторону. Если мне удалось это хоть частично, то я считаю, что поставленную перед собой задачу, — написать правду — я выполнил. В книге

много литературных и стилистических промахов. Во втором издании постараюсь их исправить.

Хочу добавить несколько слов в ответ тем, которые в своих письмах спрашивают: «Ну а конец? Вы на свободе? А ваши где? Встретились?» Я вполне понимаю их вопросы. Так хочется каждому из нас услышать, после всего пережитого, о маленьком человеческом счастье. И я снова нашел свое счастье. Жена ждала меня долгие одиннадцать лет! Вспоминаю стих К. Симонова «Жди меня»: «Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой!»

Мы опять вместе, хотя и постарели, и жалуемся на ревматизм и боль в суставах перед дождем, но мы оба снова нашли маленькое «человеческое» счастье, о котором я так мечтал в далеких сибирских лагерях, — о домашнем очаге, не осталось неосуществленным, не осталось только мечтаниями, а стало действительностью.

А разве это уже не счастье?

Только маму мою не удалось повидать. Для нас, эмигрантов, получить въездную визу в любую страну представляет собою трудную задачу. Законы человеческие часто идут вразрез с законами Божескими. Мама моя так и не дождалась меня. Она скончалась в Нью-Йорке в марте 1958 года.

*Н. Краснов,
Аргентина, 1959 г.*

ОТРЫВКИ ИЗ НИКОГДА НЕ НАПИСАННОГО ДНЕВНИКА

Скрипит тяжело нагруженная сырыми стволами деревьев арба.

Восемь рабов, одетых в лохмотья, напрягая последние силы, тянут телегу под крики и брань конвоиров, под бешеный лай сторожевых собак. Скользят, утопая в грязи, усталые, дрожащие от напряжения ноги, обмотанные тряпками. Лямка больно врежется в плечо. Лямка раба, заменяющего вьючный скот в исправительно-трудовых лагерях СССР.

...Дыхание, как под давлением поршня, со свистом вырывается из легких. Кулаки крепко прижаты к груди, в тщетном усилии остановить это болезненное клочкотание. Кажется, что вот-вот от нечеловеческих усилий со звоном струны лопнут все мускулы в жалком, иссушенном голодом теле.

Шаг за шагом. Изо дня в день. И в дождь и в мороз. Под ударами ветра или в черных облаках беспощадных moskitov бредет колонна вьючных двуногих, запряженных в фуры, нагруженные углем или, как олово, тяжелым, сырым лесом. По восемь человек.

Лямка через израненное плечо. Шаг за шагом, изо дня в день.

...Как я устал. Как мы все устали. Спать. Спать без пробуждений. Не чувствовать ни голода, ни холода. Спать так, как спят мертвые...

Смерть! Разве не в ней одной выход из этого ледяного ада? Как легко ей отдаться. Стоит только выйти из колонны, сорвать с себя вьючную лямку и броситься бежать. Пусть стреляют...

...Потоки дождя заливаются за ворот ватного, насквозь промокшего бушлата. Потоки дождя сливаются с ушана, заслепляя глаза.

— Эй! Восьмерка! Давай тяни! Чего ползете, как вошь по мокрому телу! Дава-ай! — орут конвоиры, озлобленные, остервенелые, уставшие «из-за нас» торчать на дожде.

Восьмерка людей, связанных упряжью, связанных до смерти судьбой, скользя, падая, рывками хватая влажный воздух по-рыбы открытыми ртами, тянет, тянет... тянет груз, поклажу, для «строительства» ненавистного социализма.

Сотни, тысячи, миллионы восьмерок и шестерок надрывают свои силы в этом бессмысленном труде, как рабы во времена фараонов. Как рабы, возившие на фурах каменные глыбы для Хеопсовой и других пирамид.

Мы тоже строим. Под щелканье плетей, под лай собак, под матерные окрики погонщиков рабов. Мы строим тюрьму. Тюрьму для русского народа. Тюрьму для всего податливого и слепого мира. Для всего человечества. Каждый кусок добытого угля, каждая фура добытых из земли минералов, каждый ствол дерева, каждый кирпич, каждая преждевременная могила... поддерживают, укрепляют, поднимают тех, кто окружил себя железным занавесом. Идет этот строительный материал, плывет, направляется для стройки столпов всемирной каторги, для приманки, для торговли с теми, для кого деньги не пахнут, кто всегда готов торговать с канныбалами.

...Шаг за шагом... Изо дня в день. Как муравьи, копошится по лагерям рабского труда закабаленная Русь. Как муравьи... Ведь и они имеют рабов, своими собратьями ослепленных тружеников, осужденных на вечный, слепой труд, на бесславную смерть...

Как муравьи, мы, осужденные сатанинским злом,дохнем от голода, падаем от бессилия, доходим, гаснем, как фитильки огарков, по шахтам, на прокладке путей, на лесоповале в лагерях МВД, разбросанных по СССР. Мы своими собственными руками строим ненавистный социализм.

Трещат сырые дрова в буржуйке. Едкий дым спирает дыхание и слезами заливает глаза. В бараке вонь, сырость и бань. Кто успел, пристроил свою одежку к печке.

Клубы пара валят от бушлатов, перелатанных штанов и душегреек. Счастливыцы сидят начеку, не сводя слезящихся глаз со своих лохмотьев. Заснешь — не станет! Утром не в чем будет выйти на работу, а выйти надо. Хоть нагишом.

Большинство уже завалилось по нарам. Не раздеваясь. В мокрой одежде. Воспаление легких? Ревматизм? Да разве нам не все равно?

Нет... не все равно.

Когда ночью не спишь, задыхаясь в пароксизмах лающего кашля, корчась от боли во всем теле или от сосущего голода, вдруг понимаешь, что не все равно! Понимаешь, что жить хочется! Чувствуешь, что жить... надо.

А вдруг...

Ведь может же случиться это «вдруг». Оно может стать действительностью, явью... Его нужно только хотеть, хотеть всем своим существом!

Стоит только крепко-крепко зажмурить глаза, заткнуть уши пальцами, чтобы не видеть, не слышать, оторваться и уйти из вонючего барака и тогда можно уйти в воспоминания, вызвать милый облик мамы, ласковый, любящий взгляд светлых глаз жены... Лили. Можно нырнуть, как под одеяло, под покров прошлого, дорогого, забываемого прошлого.

...Как безнадежно, как горько, по-детски, умеют плакать взрослые, возмужалые и даже престарелые люди. Как обильно во мраке ночи льются эти слезы. Как горяча скрытая, тайная молитва. Как велик тот Крест, малюсенький-малюсенький, одними крепко сжатыми пальцами сотворенный под мокрой душегрейкой, над самым сердцем...

...Мама... — шепчут губы. — Лили!

...Трудно встать утром. Трудно, выпив горячую воду вместо чая и проглотив кусок кирпича, называемого хлебом, идти на лямочную работу, но ночные мысли, вызвавшие почти до осязательности милые лица, ночная молитва вливают моральную силу.

Жить надо! Жить должно!

...Писать нельзя. Негде. Не на чем. Но я не смею забыть. Ведь я дал слово. Если доживу, если вернусь, я должен вспомнить все, начиная с Лиенца...

Шаг за шагом. Изо дня в день.

Но пусть лямка и дальше режет плечо. Пусть клочет дыхание в груди. Пусть бьется сердце, как у затравленного зверя, и в дождь и в снег, под ударами ледяного ветра, в пургу, в мороз... выючное животное XX века будет мысленно писать свой дневник.

В ЛИЕНЦЕ

Весна. Потоки солнечных лучей. Жужжание пчел. Щебетание птиц. Изумрудно-зеленые альпийские пастбища. Жизнь!

Но это весна 1945 года...

Как сегодня помню мост через шумную Драву, чистенький, не пострадавший от войны городок Лиенц, опрятные домики, сады, красивую церковь — католический костел и дом, в котором помещался штаб казачьих отрядов генерала Доманова.

Нам всем тогда казалось, что худшее уже осталось позади. Правда, война не кончилась освобождением России, к которому мы так стремились, для которого пожертвовали жизнью тысячи русских людей. Правда, неприятно было вспомнить последние месяцы пребывания в Северной Италии, поход в Австрию для сдачи в плен англичанам.

Может быть, все было не так, как нам хотелось, но люди, пережившие много, не раз смотревшие в глаза смерти, даже в самом сознании, что война закончена, и что нам удалось избежать сдачи в плен итальянским ли партизанам или советским войскам, находили особую радость.

Кто из нас мог думать, что май, рыдавший грозами, май, смеявшийся розами, как поэтически декламировал один из моих сослуживцев по отряду — для многих из нас был последним маем нашей жизни.

Май 1945 года.

Ко времени отхода из Италии, казачьи отряды генерала Доманова потеряли свой подтянутый вид строевых частей. Винить в этом некого. Настоящих боевых операций не было. Разве небольшие стычки и чистка партизан. Все время поступали «пополнения», присылавшиеся Доманову немцами, которые хотели как можно безболезненное расстаться с «самообразовавшимися» частями. В то время, когда уже никто больше не сомневался в исходе войны, на всех узловых станциях, по всему тылу располз-

лись кем-то собранные отряды из бывших советских военнопленных, из тех, кто еще на полях СССР перешел на сторону немцев. Разлад в дисциплину особенно вносили внезапно появившиеся и присоединенные к «домановским частям» кавказские «элементы», распущенная орда, прекрасно вооруженная автоматами, в немецкой форме, говорившая на «семнадцати кавказских наречиях», прошедшая огонь, воду и медные трубы в дни усмирения знаменитого варшавского восстания.

Эти «бытовые недоразумения», как их кто-то остроумно назвал, подорвали авторитет основных частей, так сказать, «костяку» казачьих отрядов генерала Доманова. Они занимались грабежом и бандитизмом на больших дорогах. Они насиловали женщин и жгли селения. Их безобразия бросали пятно и на тех, кто честно и посолдатски пришел исполнять свой долг, на тех, кто шел бороться с коммунизмом и верил в победу разума над алчностью, верил в то, что победа западных союзников не будет являться концом борьбы за Россию.

Кроме «самообразовавшихся», отряды Доманова были буквально затоплены волной все прибывавших беженцев. Старики, женщины, дети, семьи эмигрантов и несчастные «остарбейтеры», узнавая о месте пребывания русских частей, добивались до нас, преодолевая самые тяжкие искушения и испытания. Если к этому присоединить и семьи самих «домановцев», становится ясной картина того, что происходило в последние дни войны в Северной Италии, в частности в городке Толмеццо, где были расквартированы и мои юнкеры инженерной школы, которой я тогда командовал.

Весть о капитуляции Германии заставила нас всех двинуться через границу в Обер Остеррейх, к Лиенцу. Переход прошел сравнительно безболезненно. Мы были встречены и частично разоружены английской дивизией, которая сама только что вступила на территорию Австрии.

К этому времени генерал Доманов назначил меня адъютантом к генералу Васильеву. Наши части располо-

жились в Обердраубурге. Сразу же по прибытии на место, генерал Васильев, забрав меня и переводчицу Ротову, прекрасно знавшую английский язык, отправился в штаб английской дивизии.

Английский генерал не заставил нас ждать и принял, я сказал бы, очень милостиво. Он внимательно выслушал Ротову, переводившую слова генерала Васильева. От имени генерала Доманова и всех сдавшихся в плен частей отряда, Васильев просил считать нас английскими военнопленными. Он просил принять беженцев под английское королевское покровительство, для нас же, военных... никаких поблажек, никакой милости, указывая на то, что мы все вполне уясняем себе положение пленных и побежденных.

Англичанин ласково улыбался, благосклонно покачивая седеющей, рыжеватой головой. Выслушав до конца, он попросил Ротову передать, что англичане умеют ценить и уважать противника, и что плохого они никогда военнопленным не сделают. Война окончена. Победитель и побежденный должны «перековать мечи в плуги» и стараться скорее построить мирную жизнь. В заключение, все так же улыбаясь, он попросил нас быть его гостями на ланче.

Ни у одного из нас ни на секунду не зародилось в голове недоверия к словам английского генерала. Как смели мы не поверить королевскому офицеру, занимавшему такое высокое положение! Радостные и окрыленные надеждами, мы вернулись в Обердраубург и сообщили обнадеживающую весть военным и беженцам.

Люди вздохнули. Люди почувствовали себя баловнями судьбы, зная, что многие наши соотечественники не успели выбраться из местностей, занятых Советами. Их судьба была нам очевидна и ясна.

Помню отрывки разговоров между старыми эмигрантами и всегда недоверчивыми, всегда «начеку» бывшими подсоветскими. Как первые убеждали, с какой горячностью заверяли тех, кто много раз был обманут судьбой, обманут людьми, в том, что перед нами, безусловно, лежит спокойная жизнь обычных граждан — ну, скажем,

эмигрантов на территории, занятой войсками великой цивилизованной монархической державы, связанной узами родства с нашей русской династией!

Помню и то скрытое, едва слышное шептание, что, если уж кому придется худо, то, конечно, не старым эмигрантам, приобретшим за двадцать пять лет скитальческой или оседлой жизни права гражданства в свободном мире.

...Вспоминаются мне разговоры, которые велись между чинами отряда Доманова в те дни. Помню вопрошающие, ищущие заверения и успокоения глаза людей, пришедших к нам «оттуда». Плен у англичан, даже, проще говоря, плен у западников, не у нацистов, казался им в то время чем-то вроде выигрыша в большой лотерее. Помню их расспросы старых эмигрантов о том, на что мы можем надеяться.

«Боже мой! Плен у англосаксов не может быть плохим! — заверяли их. — Англичане — джентльмены! Мы имеем дело не с армией временщика Гитлера, а с офицерами Его Величества короля. Английский офицер дает слово не от себя, не от своего имени, даже если он — фельдмаршал! Он говорит от имени высшей, верховной власти. От имени Короны!»

С какой жадностью простые люди прислушивались к таким заманчивым словам. Они не замечали в них напыщенности. Им так хотелось верить в то, чего они так желали. Мирной жизни. Спокойного труда. Семейности. Собственности...

В первые дни «почетного плена» можно было уйти. Часть и ушла. Ушли те, у кого было рыльце в пушку. Ушли семейные, которые знали, что тут, где-то поблизости, находятся их раньше вывезенные семьи. Ушли, может быть, некоторые холостяки, чутьем, инстинктом предпочитавшие, чтобы «волка ноги кормили». Но это был такой маленький процент!

Остальные сидели и ждали у моря погоды. Среди них, как я писал, была и наша «благоразумная семья», верившая в человеческую справедливость, подчиняю-

щуюся Божеским законам. Мы были уже эмигрантами. Мы готовили других — бывших подсоветских, бывших военнопленных советской армии, бывших колхозников и рабочих, ставших сначала безличными «остами», а затем солдатами, боровшимися за «приобретение личности», — стать тоже эмигрантами, людьми, может быть, без подданства, без гражданства, но — людьми.

Страшное слово — «эмигрант». Человек без родины. Вечный груз, нежелательный элемент, обуза принявшего его государства. У эмигранта может быть семь пядей во лбу, но он, в понятиях законных детей любой земли, оставался «саль этранже», «фер-флухте ауслэндер». Но стать эмигрантом нашим подсоветским братьям казалось чем-то почти недостижимо прекрасным. Заглядывая в наши глаза, ловя слова на лету, они буквально впитывали в себя рассказы о нашей жизни до Второй мировой войны. Сначала не верили, затем ахали и, поверив, мечтали о подобном же счастье. Но в те дни все это было невозможно.

Мы радовались спокойному, хоть, может быть, и не в очень больших удобствах, сну. Ни бомбардировок, ни мин, ни налетов партизан. Люди расположились: кто в Обердраубурге, кто в Лиенце, кто в лагере Пеггек и в других вдоль того же шоссе расположенных лагерях.

Хозяйственность русских людей сразу же сказалась. Не чуя за собой вины, многие уже планировали разбивку маленьких огородиков, заведение хозяйства.

Шли дни. К нам приходили «ходоки» из других частей, от других отрядов. Бок о бок с нами в Лиенце жили сербские добровольцы — льютичевцы. Встречались сербские четники, стремившиеся в никому не известный итальянский город Пальма Нуова, в котором якобы их ожидал их молодой король Петр II. Мы узнали, что недалеко от нас расположены и тысячи казаков корпуса генерала Хельмута фон Паннвица, и русский корпус и батальон полка «Варяг» из Люблины. Доходили вести и о трагической судьбе некоторых частей РОА (власовцев).

Может быть, у многих из нас невольно щемило сердце. Казалась странной эта жизнь сдавшихся в плен военных вперемешку с беженцами. Жизнь более или менее свободная, по квартирам, баракам, сеновалам. Мы знали — питание людей и бесчисленного количества коней представляет невыносимое бремя для австрийского населения, и в то же время победители нас как бы не замечали, не делили на козлиц и овец, не торопились решить в ту или иную сторону наш вопрос.

Генерал Доманов делал «вылазки» к англичанам. В сопровождении начальника штаба и переводчика, он часто посещал в Лиенце здание английской комендатуры и не всегда выходил из него со спокойным лицом. Вернее сказать, после каждого нового посещения он мрачнел, грузнел, как-то оседал, но ни с кем не делился своими мыслями.

Почему?

Были ли какие-нибудь особые виды или планы у генерала Доманова? Знал ли он уже тогда обо всей аморальности, всей преступности планов западных союзников? Не лучше ли было уже тогда сообщать хотя бы старшим офицерам о тех тучах, которые стали покрывать голубое небо доверчивости над нашими головами?

Как в фильме замедленного действия перед моими глазами проходят майские дни 1945 года. Каждый человек — эгоист. Каждый по-своему эгоистично переживает чувство радости от сознания, что он уцелел, что он жив, что ему удалось сохранить свою семью. Так радовался и я тогда в Лиенце.

Мой отец Николай Николаевич, или «Колюн», как его звали родственники и сослуживцы по лейб-казацкому полку, мама, моя жена, дядя Семен Николаевич, дед Петр Николаевич и бабушка Лидия Федоровна — мы все были вместе. Жили в разных домах в Лиенце, но виделись каждый день. Под конец войны нам удалось собраться всей семьей, и мне в то время это казалось добрым знаком. Мне казалось, что сейчас начнется моя настоящая семейная жизнь с горячо любимой женой, с родителями, стариками родственниками, что мы заживем «кланом» Красно-

вых, может быть, сядем на землю или уедем за океан, но, но всяком случае, никогда больше не будем расставаться, и более молодые помогут старшим мирно дожить их дни. И все же в моем оптимизме порой стали наступать какие-то прорывы, когда я внезапно поддавался приступам предчувствия, говорившего мне, что не все еще окончено, и что рано-де строить планы на будущее.

Просьпаясь ночью, как бы от какого-то толчка, я взглядывался в дорогие черты лица тихо спящей жены. Мне почему-то хотелось запечатлеть, запомнить навсегда ее улыбку, цвет ее глаз, манеру немного поднимать бровь, тембр голоса, звук ее смеха. Последние дни я с особой радостью навещал отца. Мне нравилось, взяв его под руку, прохаживаться с ним взад и вперед, рассуждая о положении, о возможностях, о том, что мы должны были сделать и не сделали, говорить, как равный с равным, как солдат с солдатом. Я как-то особенно, по-детски тянулся к матери. Я не пропускал возможности побывать у деда, пошутить с бабушкой.

Задумываясь на момент, я решал, что мне хочется наверстать все до сих пор упущенное. Я не знал, что я забежал вперед, подсознательно стремясь вырвать у судьбы то, что она отняла у меня в будущем.

Я сегодня вспоминаю ласковое брюзжание деда, подмечавшего во мне какие-то приступы легкой меланхолии. Он верил в скорое разрешение всех вопросов и безапелляционно, по-офицерски абсолютно верил в благородство и справедливость англичан.

Моя настороженность отчасти оправдывалась и объяснялась некоторыми событиями последних дней.

Как я уже писал, самый процесс сдачи прошел почти безболезненно. Оружие сдавалось спокойно. Не торопясь. Офицерам были оставлены револьверы и известное количество винтовок для проведения «самоохраны». Однако внезапно пришел приказ сдать все огнестрельное оружие. Ясно, что мы делали это очень неохотно, и те, у кого было по два пистолета, оставляли один у себя.

Полное разоружение вызвало много толков. Раздавались голоса, предлагавшие дать команду «разойдись!» Кто его знает, что нас ожидает, — говорили они подозрительно. Но «благоразумные», в том числе и наша семья, протестовали, считая, что мы не смеем подорвать оказанное нам доверие, что мы живем лучше, чем полагается жить военнопленным. Нас не разлучают с семьями. Нас не держат за проволокой, и мы обязаны ответить такой же лояльностью, чтобы подчеркнуть англичанам, с кем они имеют дело.

Для меня все «началось» 26 мая. Вечером, после скромного обеда, я пошел с женой прогуляться, думая по дороге навестить «стариков», узнать «последние новости».

Форму я не снимал. Не «демонтировал» всех значков и отличий, и, возможно, выправкой и аккуратной одеждой я бросался в глаза. Гуляя, мы дошли до моста и находились вблизи английского штаба. Совершенно неожиданно ко мне подошел английский сержант и попросил меня последовать за ним.

— Ду коммен! (ты иди!) — сказал он на ломаном немецком языке. — Ду коммен мит! (ты иди вместе!)

— Варум? — изумился я. Я чувствовал, как ногти жены впиваются в судорожном предостерегающем пожатии в мышцу моей руки.

Англичанин добродушно улыбнулся от уха до уха и развел руками:

— Ордер!

Я попросил жену подождать и пошел с сержантом в большое желтое здание, Оставив меня в коридоре совершенно одного, сержант ушел. Прошло минут пятнадцать томительного ожидания. Через окно я видел мост и за ним нервно ходящую взад и вперед жену.

Наконец, появился сержант, сопровождая пожилого английского офицера. Сержант пробовал что-то сказать, но офицер прервал его и прошел мимо меня как мимо пустого места. Я отдал честь, как офицер офицеру. Бритт не удостоил меня даже простым кивком головы.

— Ду фрай (ты свободен), — смущенно сказал сержант.

— Почему вы меня сюда привели? — Все же хотелось мне знать.

— Никс ферштеен, — быстро ответил он, прибавив: — Гоу! — И указал рукой на дверь.

Прогулка была испорчена. Мы вернулись домой. Жена долго молчала, но, не выдержав, расплакалась и стала просить меня переодеться в штатское, бросить все вещи и уехать куда глаза глядят.

У нас были еще не аннулированные югославские паспорта. Мы могли уехать в Зальцбург, в Мюнхен и отсюда, получив визу, к знакомым в Швейцарию.

Я остался непоколебим.

Ничего плохого это английское «приглашение» не означало. Меня просто приняли за кого-то другого, вероятно, за немецкого офицера. Переодеваться в штатское и бежать я считаю ниже своего достоинства, и такой поступок не отвечает понятию о чести офицера, пленного офицера. Кроме того, я не мог бросить своих юнкеров инженерного взвода. Я все еще адъютант генерала Васильева и буду ждать приказа о демобилизации или другого решения, одинакового для всех нас, чинов отряда генерала Доманова. Если нас распустят, я буду считать себя вправе выбрать свою дорогу.

Этой ночью мы не сомкнули глаз. О многом было переговорено, высказывались многие предположения. Я опять напомнил жене о посещении командующего английской дивизией и об его офицерском слове. В общем, я решил, что утро вечера мудренее. Завтра что-нибудь узнаем.

Действительно, следующее утро было, увы, очень «мудреным».

...В 1955 году я встретился в лагерях Караганды (Казахстан) с личным адъютантом генерала Доманова, капитаном Бутлеровым, которому посчастливилось избежать более трагической участи. Из разговора с ним кое-что из сошедшего в Лиенце стало мне более или менее ясным.

Капитан Бутлеров сказал мне, что «какие-то туманные, угрожающие слухи об уготовленной всем нам уча-

сти» доходили до генерала Доманова, но, не доверяя переводчикам, затрудняясь разобраться во всем происходящем, генерал предпочитал задержать сведения при себе, строго приказав переводчикам и адъютанту молчать.

Доманов предполагал или хотел верить, что только маленькие бесчинства «семнадцати кавказских народностей» и других головорезов, несколько раз имевшие место и на австрийской территории после сдачи в плен, послужили причиной окончательного разоружения. Распространение же среди военных и беженцев непроверенных или неясных слухов, по мнению генерала Доманова, могло привести к повальному бегству, распылению десятков тысяч людей, что, конечно, внесло бы сумятицу и послужило бы поводом для острых репрессий со стороны английского командования.

Если старые генералы из эмигрантов верили в безупречность слова английского генерала, то, по словам Бутлерова, в него верил или хотел верить бывший советский офицер Доманов. У него было развито чувство уважения к западным победителям и, как показали впоследствии все события, он предпочел взять тяжкий грех на свою душу и хранить молчание.

Вечером 27 мая 1945 года Доманова посетил майор английского генерального штаба Дэвис в сопровождении адъютанта и попросил генерала передать всем офицерам его отряда, чтобы они безусловно собрались к 1 часу дня 28 мая в определенных местах своего пребывания и были готовы отправиться на английских автомашинах на совещание к командующему восьмой английской армией, а возможно и для встречи с фельдмаршалом Александером (?), который якобы хочет «поговорить» с русскими офицерами.

По словам Бутлерова, он задал вопрос: почему всех офицеров? Ведь речь идет о приблизительно двух тысячах человек! Такую массу трудно будет перебросить на эту конференцию. Не лучше ли собрать только командиров полков, батальонов и отдельных частей?

— Нет! — категорически ответил майор Дэвис. — Не беспокоитесь о транспорте. Это наше дело. Командующий армией приказал провести конференцию со всеми офицерами без разницы в чинах. И... пожалуйста, не забудьте предупредить генерала Краснова. Командующий очень заинтересован встречей с ним.

Уже уходя, Дэвис, как бы спохватившись, передал еще одну просьбу командующего армией:

— Не тревожьте офицеров сегодня вечером. Передайте приглашение только завтра утром. Сами понимаете... такая встреча. Господа офицеры могут взволноваться оказываемой им особой честью... Это потревожит их сон... Примите, однако, и эту просьбу, как приказание!

Англичане отказывали и отбыли.

Несмотря на то, что генерал Соломахин был начальником штаба, при этом разговоре он почему-то не присутствовал.

Никто тогда или почти никто не мог оценить особый английский «сухой юмор» и верх цинизма майора Дэвиса и его начальников.

Генерал Доманов и Бутлеров не ложились спать в ту ночь. Всевозможные мысли и предположения приходили им в головы, рассказывал мне последний. Не смея ослушаться, они утром разослали нарочных и сообщили о приглашении на конференцию по линии поставленных нами полевых телефонов. Экстренно поехали за Петром Николаевичем, который находился при частях Доманова как бы на беженском положении. Ему в то время было уже 76 лет. Глаза и ноги сильно сдали, и он не занимал никакого военного поста.

Появление нарочных и сообщение о конференции вызвали сильное волнение. Мы, офицеры, приняли это, как известный вызов судьбы, но все же не предполагали, на какую беспримерную подлость и предательство способно английское командование, и какого верного исполнителя дьявольской уловки оно нашло в майоре Дэвисе, чье имя останется незабываемым, пока живы русские люди.

Бабушка Лидия Федоровна, привыкшая в течение всей жизни с Петром Николаевичем принимать все события и смотреть на них его глазами, впервые не была согласна с его доверчивостью. Она только сторбилась и сжалась, возражать или отговаривать не смея. Но мать и жена бросились к папе и ко мне, умоляя ни в коем случае не ехать на это свидание.

— К чему? — говорили они. — Пусть едет, кто хочет. Оставайтесь. Пусть вам другие расскажут, как там было!

К положенному времени мы все собрались у штаба. В 14.45 часов дня 28 мая с площади города Лиенца отбыла легковая машина с дедом Петром Николаевичем и его сопровождением. Вслед за ним отбыли другой машиной генерал Доманов, капитан Бутлеров и ординарец офицер. Ровно в час дня к штабу подошел большой английский автобус. Им управлял шофер — английский офицер. Сопровождающих не было. Он попросил штабных офицеров занять места в машине.

Ожидая погузки, я все время старался шутить с матерью и женой.

Мне очень хотелось вызвать хоть на мгновение улыбку на лицах мамы и Лили. Я старался их развеселить и, целуя обеих перед дверями автобуса, я пожаловался, что не успел плотно пообедать и поэтому прошу их поджарить мне к ужину большую в «шесть глаз» яичницу, считая, что на длинном совещании я успею проголодаться.

...Одиннадцать долгих лет я ожидал эту яичницу.

Без толкотни и не торопясь, как полагается офицерам, расселись мы в автобусе. Английский офицер вошел последним, приветливо улыбнулся, махнул женщинам, стоявшим перед штабом, и захлопнул двери.

Думали ли мы, что в этот момент перевернулась страница нашей жизни, началась новая, полная страданий глава; что в этот момент захлопнулась дверь, отделившая нас на долгие годы, а некоторых даже навсегда, от свободы.

Заработал мотор. Я сидел у окна и не спускал взгляда с лица жены. Почему ее милые глаза полны слез?

— думал я. — Расстаемся только на несколько часов. Ведь не впервые же!

Автобус тронулся. Слова прощания, заглушенные работой машины, как стон, отозвались в душе.

Машина вышла из города. Проезжаем Пеггек, а затем другие лагеря, в которых размещены войска и беженцы. Мы идем в голове быстро формирующейся колонны. От каждого лагеря отходят грузовые автомобили, полные офицеров. Их все больше и больше. Когда мы вышли на свободное шоссе, наш поезд состоял уже из 40–50 машин. На грузовиках — по паре английских солдат с автоматами. Почетный эскорт?

Не сбавляя хода, проезжаем километров пятнадцать. Равняемся с перекрестком у опушки леса. Круто останавливаемся.

Из окон нашего автобуса — головной машины — мы первые замечаем появление вестников начинающейся трагедии. Из леса медленно, как тараканы, топя гусеницами, поползли английские танки, бронированные автомобили и моторизованная пехота. Впереди несколько офицеров на джипе.

Первый танк вполз на шоссе и стал во главе колонны, повернув дуло тяжелого пулемета в нашем направлении. Сигнал — и мы двинулись очень медленно вперед, давая место легким танкам врезаться между грузовиками, полными «гостей английского фельдмаршала».

Сформировалась новая линия колонны. Три-четыре грузовика, английский танк или броневик. Как осы, роем окружили нас мотоциклисты, вооруженные автоматами.

В нашем автобусе многие повскакивали с мест.

— В чем дело? Вас ист лос?

Наш шофер повернул к нам мило улыбающееся лицо и на плохом немецком языке объяснил, что «никс ист лос», ничего такого не произошло, что дало бы нам повод волноваться. Мы ведь военнопленные и должны подчиняться распоряжениям английского командования. Нас

везут в лагерь около города Шпитталь-ан-дёр-Драу, а отсюда в Виллах, где и состоится конференция.

— Но почему же танки? Зачем вооруженный конвой?

— На всякий случай. В лесах все еще блуждают вооруженные отряды немецких СС. Они могут напасть на колонну...

Спорить с англичанином не приходилось, но мы никак не могли понять, причем тут эсэсовцы и зачем им нападать на колонну. Машины полны офицеров, одетых в немецкие формы. Или англичане боятся, что «фрицы» будут нас «освобождать»? К чему и для чего?

— Тут что-то не то! — шептали возбужденные офицеры. — Смотрите, как пулеметчик с танка следит за движением в нашем автобусе. В случае чего... сигнал нашего шофера, и очередь по машине неминуема.

Как бы в подтверждение этих слов, не поворачивая к нам головы, англичанин сказал:

— Джентльмены! Не вскакивайте с мест!

Тон сухой. Улыбка исчезла. В голосе затаенная угроза. Атмосфера сгущается. У всех насушенные лица. Кто-то первый вслух произнес жуткое слово «предательство»!

Не хочется верить. Как от надоедливой мухи, отмахиваемся от своих собственных мыслей. Зачем сразу же предполагать измену? Мы пленные. Воевали, боролись с оружием в руках на противоположной стороне. Пора нести последствия. К расчету стройся! Почему англичане должны делать разницу между нами и немцами? Те же сядут за проволоку. Посадят и нас. Довольно кайфовали на полубеженском положении. В лагерях разберутся, кто из нас прав, кто виноват. Пропустят через сито военносудственного аппарата, отделят военных преступников, если есть такие, а нас демобилизуют и отправят к семьям. Так мы думали. Вернее, так нам хотелось думать. Из раздумий меня вырвал неожиданный маневр идущего впереди танка. Он вильнул в сторону и ускорил ход, обходя и включая в нашу колонну автомобиль генерала Доманова. Его конвоировали вооруженные мотоциклисты. Вид сол-

дат был далеко не добродушный. Это не был почетный эскорт высоких пленников. Нет! Далеко нет!

Сердце учащенно билось. Кровь пульсировала в висках. Становилось жарко и душно. Тревожно напрашивался вопрос: а где же дед? Где его машина?

Перед нами вилась, слепя глаза белизной, совершенно пустая дорога. Ни встречных, ни обгоняющих машин. Часто мелькают в глазах рогатки с английскими солдатами. На горизонте начинает вырисовываться город Шпитталь. Драва. Мосты. Справа и слева высокие, поросшие густым черноватым лесом, горы. Мы уже более двух часов в дороге.

Невдалеке от города подъезжаем к длинной изгороди из колючей проволоки. Грязные бараки, очевидно, остаток немецкого лагеря для военнопленных. Вышки. У изгороди, на небольшом расстоянии друг от друга, английские часовые. Плен? Настоящий плен?

Въезжаем через широкие ворота в черту лагеря. Машины стоп. Команда: «Слезай»!

За первой линией проволочной ограды существует и вторая, отделяющая внутреннюю зону от внешней. Нас построили и произвели поверхностный обыск. Ловко и привычно скользнули руки английских солдат по груди, спине, между ногами. Ищут оружие. После обыска по одному пропускают во внутреннюю зону и приказывают разместиться по баракам по своему усмотрению. В толпе офицеров, к своей великой радости, я сразу же нашел деда, дядю и отца. Дед бодрился. Подходя, я услышал конец его фразы:

— ...в это я не верю! Не обращайтесь внимания на паникерские слухи. Этого следовало ожидать. Последствия войны и наших действий...

Заметив меня, дед положил руку на мое плечо, белую мягкую старческую руку в синих жилках и с желтоватыми пятнышками. Ласковые стариковские глаза остановились на мне.

— ...так что, все сегодня же на конференции выяснится и образуется. Не правда ли, Николай? — Отец и дядя хмуро отвернулись.

Через переводчиков нам было приказано срочно составить поименные списки прибывших с точным указанием чинов и частей, в которых служили. Перед бараками нагромодили ящики с консервами, бисквитами и папиросами, предлагая разбирать.

— Фельдмаршальский обед! — мрачно сказал Семен Николаевич.

Мы все разместились по барачным комнатам. Красновы кланом поместились вместе. Разговор не клеился. Избегали встречаться глазами. Казалось, что даже близкий и родной, прочтя мысли и страхи, не поймет и осудит за малодушие.

Дед интересовался, где находится генерал Доманов. Отвечали, что он ушел вместе с генералом Тихоцким и капитаном Бутлеровым к англичанам.

Поздно вечером в наше помещение буквально вошел Доманов. У него ходуном ходили щеки, дрожали губы. На его плечах больше не было погон, которые он сам снял, несмотря на категорическую просьбу деда, обращенную ко всем офицерам.

— Петр Николаевич, дорогой! — всхлипывая, вскричал он, — завтра утром нас всех отправляют в Юденбург, и там произойдет поголовная выдача Советам!..

Дед встал с койки и, опираясь на палку, сделал несколько шагов по направлению к Доманову.

— Откуда вам это стало известно? Может быть, вы не поняли... может быть, вы ошибаетесь! Ведь это же предательство, ложь, обман!

— Ошибки быть не может. Мне это еще раз в весьма твердой и определенной форме сообщили англичане, сейчас... за ужином ...

Я встретился взглядом с отцом. Сейчас? За ужином? Еще раз сообщили? Значит, Доманов знал об этом и раньше. Почему же он молчал? Почему? Где и когда ему

было сообщено впервые? В Лиенце? По дороге? Подлец! Он не имел права скрывать это страшное известие от офицеров. Он должен был их предупредить, подготовить! Он мог открыться хотя бы перед старейшим офицером, георгиевским кавалером Петром Красновым... Первый вспылил дядя Семен.

— Значит, вы знали об этом заранее? — вскричал он, побагровев. — Вы преступник, Доманов!

Дед, стоявший с совершенно окаменелым лицом, повернулся к Семену и тихо, но твердо сказал:

— Возьми себя в руки, Семен! — и, обращаясь к трясущемуся Доманову, продолжил: — Сняв голову, по волосам не плачут. Необходимо действовать. Сейчас же. Сию минуту. На карту поставлены не моя и ваша жизни, а судьба почти двух тысяч офицеров. За нами последуют и солдаты... Мы должны немедленно составить петицию на имя Его Королевского Величества Георга Английского. Мы должны послать подобное же обращение Международному Красному Кресту. Они обязаны разобраться в вине или невиновности русских людей, служивших под немецкими знаменами. Они должны понять причины, заставившие нас пойти на этот шаг. Если среди нас находятся люди, совершившие преступления против человеческих и Божеских законов, пусть их судит специальный военный суд. Но огулом, каждого...

...Петиция была составлена Петром Николаевичем на французском языке, подписана им и другими офицерами. Петр Николаевич предлагал, чтобы его первого судили, старого офицера русской Императорской армии. Если его признают виновным, он покорится решению суда. Он брал на свою ответственность и под свое честное слово не только тех, кто из рядов эмиграции или по призыву попал в немецкие части, не только тех, кто был рожден в Германии или в зарубежье, но всех тех, кто открыто и честно боролся против коммунизма и в прошлом были советскими гражданами.

«Я прошу, — писал дед, — во имя справедливости, во имя человечности, во имя Всемогущего Бога!»

Через капитана Бутлерова был вызван офицер из состава английского конвоя. Английский майор взял петиции, повертел их в руках, пообещал дать им ход, отправить в Лондон и Женеву, но, позевывая, прибавил, что он очень сомневается в успехе. Срок чересчур короткий. Утро уже не за горами...

Лагерь не спал. Никто не ложился. По баракам ходили офицеры, советуясь, договариваясь, возмущаясь. Страшная весть сразу же облетела весь лагерь. Всем стало ясно, на какую «конференцию» пригласил нас пресловутый Дэвис.

Возникали и росли самые невероятные слухи, но доходили и правдивые вести. Каким-то чудом, нам говорили, по югославскому паспорту освободился и был выпущен из лагеря Кучук Улагай. Повесился Тарусский и еще один, нам неизвестный, бывший советский офицер. Последнего вынули из петли и вернули к... жизни.

Под окнами бараков проходили английские патрули. Мы потушили свет и тихо разговаривали. Темноту то и дело прорезали лучи английских прожекторов с танков, тихо ползавших по зоне. Прицел их бдительных орудий и пулеметов — на наши бараки.

О чем мы говорили в ту ночь, ясно не помню. Отрывочные короткие фразы. Незаконченные мысли. Я не помню, выражали ли мы какие-нибудь сомнения. Высказывали ли надежды. Меньше всего говорил Петр Николаевич. Он сидел у единственного стола, опершись подбородком на набалдашник палки. Маститая молчаливая фигура силуэтом выделялась на фоне окна. Убеленный сединами. Умудренный опытом. Человек, честно проживший почти восемь десятков лет. Солдат. Казак. Русский патриот. Талантливый писатель, отдавший свое дарование на алтарь служения Правде и Родине.

Вероятно, по молодости лет, у меня в груди бушевала буря. В голове роились самые фантастические жуткие мысли.

Шаги в коридоре. Кто-то стучится в нашу дверь. Просовывается голова.

— Николаевич! — шепчет этот «кто-то». — Может быть, составим быстренько списки белых эмигрантов? Отделим овец от козлиц, а? Может быть, тогда нас отпустят?..

Дед не отвечает. Голова исчезает. Дверь медленно закрывается.

При первых лучах солнца все офицеры выходят из барачных. Военный священник, прибывший вместе с нами, служит молебен. Тысячи людей поют «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Отче наш».

Тысячи людей опустили на колени. Поникли русые, седые, темные головы. Мелькают руки, творящие крестное знамение.

Подай Господи! Помилуй Господи!..

Кружат по лагерю, как заведенные игрушки, английские танки. Подняты крышки башен, и на молящихся русских людей с нескрываемым любопытством смотрят на редкость кучерявые черноглазые английские солдаты. Они зубоскалят и что-то кричат, над чем-то смеются.

Целыми пирамидами стоят ящики с консервами и бисквитами, до которых не дотронулись наши офицеры. Единственный, кто отведал английского угощения, был генерал Доманов, приглашенный «на ужин» к англичанам. Он и его сопровождавшие.

Молебен кончен. Встаем с колен, пилотками отряхивая пыль с брюк. В душе, под впечатлением молитвы, загорелся малюсенький огонек надежды. Ведь может же случиться чудо! Говорят, что жена фельдмаршала Александра русская. Может быть, она заступится? А цивилизованный мир? А международные конвенции о защите и правах военнопленных? Мы ведь не разбойники. Мы борцы за идею, которую должен воспринять весь свободный мир! Мы солдаты, а не партийцы. Мы сдались с оружием в руках, не прятались, не скрывались, не снимали с себя формы, не срывали значков...

Так мы думали.

В толпе я потерял связь со своими. Пробую пробраться к бараку. За мной чей-то голос с искренней тоской говорит:

— Эх! Не охота помирать как куренку. Без оружия в руках.

Поворачиваюсь. Небольшого роста лейтенант. Казачок из «потусторонних», из Советского Союза, где-то в плавнях Кубани перешедший на сторону немцев. Как он угадал мои мысли, этот всегда веселый балагур. Его лицо кривится, стараясь выдать подобие улыбки. Несмотря на загар, его лицо бледно, а в зрачках притаилась смерть.

...Восемь часов утра. Иду к бараку. Вдруг крик из нескольких сотен горл остановил меня. Смотрю и не верю своим глазам. К проволочной ограде внутренней зоны бодрым шагом подходят английские солдаты. Винтовки со штыками наперевес. Командир роты открывает ворота. В зоне гудят приготовленные машины.

Воздух начинает потрясать не крик, а рев толпы.

— Стреляйте! Не пойдем живыми на выдачу!

Священник высоко поднял крест. Он блестит под лучами утреннего солнца, как символ милосердия и человеколюбия. Блеск слепит мои глаза, но я не могу оторвать от креста взгляда.

Англичане врываются в толпу. В воздухе мелькают резиновые палки. Слышны глухие удары по плечам, спинам, по головам.

Я не знаю, кто дал команду начать избиение. Утонув в безмолвном созерцании креста и в молитве, я на момент как бы ушел в себя. Но где же теперь крест? Распятие одним ударом резиновой палки выбито из рук священника. Кругом крики, стоны, мольбы и проклятия.

Я и сегодня невольно содрогаюсь, вспоминая утро 29 мая 1945 года...

...Между нами юлят переводчики. Они передают приказания офицера, заведовавшего погрузкой.

— Паны должны лезть в машины. Если не пойдут добровольно, против панов будет применена сила и огне-

стрельное оружие! — картаво, то с польским, то с галицийским акцентом кричали, надрываясь, «толмачи».

Под градом ударов палками и прикладами нагрузили первую машину. Как в каком-то водовороте человеческих тел, вертясь вокруг своей оси, спотыкаясь и почти падая, я стремлюсь к автобусу, в который, как мне показалось, был воткнут мой отец.

Передо мной англичанин. Его винтовка штыком направлена вперед.

— Это смерть! — кричу я сам себе и с каким-то восторгом бросаюсь грудью на штык.

Ловкий прием винтовкой, и приклад тяжело, наотмашь, опускается на мое плечо. Невольно ахаю. В глазах темнеет от боли. С трудом удается удержать равновесие и не упасть к ногам победителя. Кто-то сзади подхватывает меня и впихивает в дверцу автобуса.

Окидываю взглядом зону. Кругом, как на ярмарке, копошится, волнуется толпа. Крики и стоны не прекращаются. Какое-то месиво из людей, одетых в офицерские формы. Мелькают все чаще палки и приклады.

Медленно, опираясь на палку, к нашему автобусу идет мой старый дед. Низко опустил он голову. Сгорбился. Сердцем чувствую, что он переживает. В нем сейчас рушится весь мир, погребая под руинами уважение к офицерам, к армии великой владычицы морей — английской монархии.

Соппротивление сломлено. Подгоняемые окриками и ударами, люди заполняют машины. Не успевает одна заполниться, как ее окружают осы — мотоциклетчики, подталкивают танки и выводят на дорогу.

Опять шоссе. Танки. Автобусы. Броневики. Грузовики. Лихо разворачиваясь, как ковбои на мустангах, объезжают колонну солдаты на мотоциклетах, у каждого на груди автомат. У каждого около пояса ручные гранаты.

Я все еще в оцепенении, из которого меня заставляет вырваться какой-то размеренный шум. Всматриваюсь. По полу автобуса с грохотом катаются банки с консервированным молоком, предупредительно заброшенные конвоем.

Улыбается солнце. Весна. Как эмалированный таз, ярко голубеет без единого облачка небо. Около окон автобуса вьются парочками белые мотыльки-капустницы. Леса. Яркие зеленые пашни, засеянные молодым клевером. Мосты. Драва. Объезжаем стороной город Виллах.

У дверей нашего автобуса, опершись на них спиной, стоят два молодых английских солдата. Они зубоскалят и переговариваются, ни на минуту не спуская глаз с наших спин, не выпуская из рук автоматов наготове.

Едем долго. Молчим. О чем разговаривать? В каждом из нас рухнул его внутренний мир. Смотрю в окно и вижу, что наш путь лежит не по главным дорогам, не через города. Только небольшие селения, разбросанные австрийские домики задерживают на момент взгляд. Глаза устали и, крепко закрыв веки, стараюсь не думать, не терзать себя упреками.

Отец больно толкнул меня в бок локтем. Смотрю: подъезжаем к какому-то городу. Мелькает доска с надписью. Юденбург. Мы у цели. Подъезжаем к каменному мосту. Машины замедляют ход, разворачиваются и, наконец, останавливаются. Этот мост как бы символизирует переход через Рубикон. Он навис над каменным корытом реки Мур, теперь почему-то обмелевшей, похожей на веселый ручей, серебрящийся и играющий между острыми зубцами дна.

По эту сторону моста — английский солдат, жующий яблоко. По ту — советский. По эту сторону моста — жизнь. Свобода. По ту — неизвестность и, скорее всего, смерть.

Из одинокой небольшой фабричной трубы черный дым принимает причудливые формы под дуновением бриза. Он напоминает вопросительный знак, повисший на востоке.

Из машин выскакивают конвоиры. Они кричат «гуд бай!» и машут нам руками. Около грузовиков идет какая-то возня. Всматриваюсь и вижу, что английские солдаты окружили пленников и предлагают им папиросы за часы, кольца и другие ценности. Некоторые из наших, по доверчивости и оптимизму, взяли с собой на «конферен-

цию» фотографические аппараты в надежде заснять самого фельдмаршала.

По какой-то странной случайности все англичане говорят по-польски. Они горланят, дергают наших за рукава и заверяют, то в могилу они вещи с собой не унесут, а папироску выкурить успеют. Торгаши отличались особым цинизмом. Желая объяснить, что ожидает несчастных, они подносили к виску указательный палец, отчетливо шелкая средним и большим. Песенка, мол, ваша спета! Чего там валандаться!

Томительное ожидание кончается. Первый грузовик медленно вползает на мост. Вдруг в воздухе мелькает чье-то тело. Слышен не то стон, не то крик. Тупой удар о каменное дно реки. Тишина.

Ползет второй грузовик. Англичане насторожились. Насторожился и часовой по ту сторону, но опять прыжок, мелькание тела в воздухе. Опять тупой удар и... тишина.

С советской стороны, навстречу, бегут солдаты и офицер, но опять прыжок...

Оставляя наш автобус, конвоиры защелкнули замок дверей. Из автобуса не выскочить! Пока мы медленно проезжаем через мост, смотрю вниз. Тел не видно, но струйки воды, пробегающей между острыми камнями, окрашены кровью.

— Счастливые... — шепчет кто-то за мной.

— Счастливые... — искренне повторяю я.

...А солнце над миром, наслаждающимся концом войны, светило по-прежнему. По-прежнему, по-обычному где-то кукарекал петух, в навозной куче, по ту сторону моста, хлопотливо копошились веселые дерзкие воробьи, и высоко в небе парил, широко раскрыв недвижные крылья, горный альпийский орел.

Почему человек, даже идя в неизвестность, к смерти, запоминает такие мелочи и запоминает их на всю оставшуюся жизнь?

Как часто в течение почти одиннадцати лет каторги за железным занавесом я во сне или в часы непосильной

работы вспоминал, видел, действительно, видел горбатый юденбургский мост, багровую воду речонки, воробьев, возившихся в конском навозе, голубизну неба и свободного одинокого орла.

Вероятно, потому, что это были мои последние впечатления от свободного, по-своему счастливого и беспечного мира.

Мост кончился. Шлагбаум. Он медленно поднимается, и мы вкатываемся в зону советской оккупации. Выдача произведена. Возврата нет.

— Крышка! — криво улыбаясь, говорит отец.

— Гроб с черной лентой! — хрипло пробует состроить кто-то.

Эти слова повисли в воздухе, не найдя отклика. Смеяться было не над чем.

К дверке нашего автобуса подходит военный в защитной куртке. Фуражка с алым околышем. Двери распахиваются. Врывается шум. Где-то звенит гармошка русского солдата. «Жди меня» разливается переборами. Какая ирония!

— Жди меня! — шепчу, сам того почти не замечая. — Жди меня!